Пыль на её губах

Конюшенко Егор

Егор Конюшенко

Пыль на Её Губах

https://litres.ru/74070148
SelfPub; 2026

Аннотация

Пыльный город на краю пустыни, банда, не оставляющая следов, и женщина, которая поёт так, словно знает о смерти больше, чем все стрелки в салуне вместе взятые. Шериф Джим Картер уже терял людей. Он поклялся, что следующей ошибки не будет. Но когда подозрение падает на ту, кому он начал доверять, ему придётся выбирать между старыми клятвами и тем, во что он никогда не верил. Что, если цель ближе, чем кажется? И что, если ты не хочешь в неё стрелять?

Содержание

Глава 1. Запах лаванды 4
Глава 2. Гостья 14
Глава 3. Танец под луной 28
Глава 4. Другая женщина 47
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Егор Конюшенко
Пыль на Её Губах

Глава 1. Запах лаванды

Солнце садилось, как садится оно в этих широтах, — быстро, без сумерек, словно кто-то заливал горизонт расплавленным свинцом, и небо на западе взялось коркой запёкшейся крови. Дасти-Крик лежал перед Джимом Картером безмолвный и съёжившийся, точно зверёк, почуявший койота. Пыль на главной улице лежала слоем в два пальца, и ветер гонял по ней шары перекати-поля, что стучали в запертые ставни лавок, как костяшки пальцев давно усопших. Ни огонька в окнах, ни собачьего лая. Даже вездесущие куры куда-то попрятались. Люди запирали двери здесь теперь с полудня, запирали и крестились, стоило солнцу перевалить за точку зенита.

Лошадь под ним — гнедая кобыла по кличке Мэг — хромала на левую переднюю, и каждый шаг отдавался в позвоночник глухим толчком. Шериф держался за правый бок, где под рёбрами расплывался синяк размером с обеденную тарелку. Утренний рикошет от скалы угодил плашмя, не пробил кожу, но размозжил мясо до кости, и теперь при каждом вздохе там что-то предательски хлюпало. Он не стонал

— только иногда сжимал челюсти так, что желваки выступали на обветренном, покрытом дорожной солью лице, похожие на речные голыши. Позади остался перевёрнутый дилижанс с простреленными колёсами, рассыпанная почта, мёртвый возница с мухами в открытых глазах и гильзы, что поблёскивали в дорожной грязи, точно рассыпанные монеты, за которыми никто не нагнулся.

У коновязи перед домом доктора Макалистера горела единственная на весь город масляная лампа. Она висела на ржавом крюке, и в её дрожащем, убогом свете плясали ночные бабочки, бросая на стены огромные, ломкие тени. Джим натянул поводья. Мэг всхрапнула и остановилась, понуро опустив голову. Он тяжело спешился, ухватившись за луку седла, постоял так мгновение, пока мир не перестал вращаться и тошнота не отступила. От седла пахло нагретой кожей и лошадиным потом, и этот запах почему-то всегда напоминал ему о похоронах. О тех похоронах, где гроб был пуст, потому что тело так и не нашли.

На крыльце, раскачиваясь в скрипучем кресле-качалке, сидел сам док — старый Тэд Макалистер, давно разменявший седьмой десяток. Он был бос, и его костлявые, белые, как корни мёртвого дерева, ступни торчали из-под закатанных штанин. В зубах дымилась прокуренная пенковая трубка, а поперёк колен лежал дробовик двенадцатого калибра. Дуло смотрело аккурат в пыльную темноту улицы.

— Ты похож на покойника, Джим, — произнёс доктор,

выпуская клуб едкого дыма в ночной воздух. Голос у него был скрипучий, точно несмазанная петля, но в нём слышалось почти родственное тепло. — Только покойники, как правило, лучше пахнут. Где тебя черти носили? Сэм весь извёлся. Уже который час в бреду, всё зовёт тебя. Говорит, мол, шерифу нельзя одному против них. Убьют. Я ему, дураку, твержу: да наш Джим и один целую армию стоит, а он знай себе мечется.

Джим ничего не ответил. Снял перчатки — правая прилипла к сбитым костяшкам, пришлось тянуть с мясом — и, морщась, стянул плащ. Подошёл к бочке с дождевой водой, зачерпнул жестяной ковш. Вода была тёплой, пахла москитами и ржавчиной. Он плеснул в лицо, растёр пыль на шее, и капли стекли в утоптанную землю тёмными, словно чернила, дорожками.

— А ты, я смотрю, ждал меня на крыльце, как девушка на выданье, — наконец вымолвил он, и в его голосе сквозь свинцовую усталость пробилась слабая тень усмешки. — Неужто соскучился, Тэд? Или боишься, что старые кости растащат по прерии раньше времени?

— Скучать тут не по кому, кроме стервятников, — Макалистер кивнул на небо, где, снижаясь, уже кружили первые, самые нетерпеливые тени. — Эти, с перьями, тоже ждут не дождутся. Думаю, у них нынче пир. Ты хоть кого-нибудь зацепил из шайки?

— Никого, — ответил Джим. Он смотрел на свои руки.

Под ногтями запеклась кровь, и то была не его кровь — кажется, возница, умирая, вцепился в рукав и оставил на нём длинные борозды. — Они ушли в Лабиринт-каньон. Растворились. Словно их ветер слизал. Мы гнались три мили, но там, среди скал, даже эхо не отвечает. Ни следа. Ни гильзы. Только пыль.

Доктор хмыкнул и сплюнул под перила.

— Чёртов Ворон… Говорят, он и не человек вовсе. Индейцы с юга рассказывают, будто это дух убитого шамана, что носит маску из кожи своих врагов. Мол, когда его племя вырезали, он восстал и теперь пьёт кровь белых, чтобы вернуть долги. Люди запирают двери и молятся, Джим. Молятся, как в Судный день. Ты, конечно, в такую чушь не веришь.

— Я верю в свинец, — отрезал шериф. Он вытер лицо рукавом и повернулся к двери. — И в то, что свинец этот однажды найдёт нужную башку. Хоть индейский дух, хоть сам дьявол — пуля одинакова для всех.

Он хотел добавить что-то ещё, что-то горькое и беспощадное, но внутри дома раздался приглушённый, полный муки стон. Стекло в оконной раме задребезжало. Сэм.

Джим стиснул зубы так, что на скулах снова заходили желваки, и шагнул к двери.

— Он совсем плох? — спросил он, уже взявшись за щеколду.

Макалистер перестал качаться. Кресло замерло с последним жалобным скрипом. Старик убрал дробовик, прислонив

его к стене, и поскрёб седую щетину. Лицо его, изрезанное морщинами, словно старая, много раз перегибавшаяся карта, стало вдруг серьёзным и очень усталым.

— Плечо я ему заштопал. Кость не задета, жилы целы. Жить будет, если Бог даст. Но лихорадка… Он не раны боится, Джим. Он боится того шёпота, что слышал там, в пыли, пока лежал и истекал кровью. Говорит, главарь подошёл к нему, встал над душой и заговорил. Будто змея в траве — ни голоса, ни дыхания, одно только шипение. Сэм парень крепкий, ты знаешь, но рассудок у него сейчас — как пойманный мотылёк в банке. Бьётся о стекло и вот-вот затихнет навсегда. Ты уж с ним помягче.

Шериф толкнул дверь. Внутрь пахнуло йодом, карболкой и ещё чем-то сладковатым, неуловимо напоминающим гниющие цветы. Джим на мгновение замер на пороге и в последний раз бросил взгляд на запад, туда, где багрянец уже уступил место синеватой, ледяной мгле. Где-то там, в этом сгущающемся мраке, среди торчащих клыками скал, затаился Чёрный Ворон. Где-то там он перезаряжал револьвер и улыбался, глядя на ту же самую луну, что сейчас висела над Дасти-Криком. Джим никому не сказал бы об этом, но в тот миг он поклялся себе, что в следующий раз либо привезёт его голову в мешке, либо сам останется лежать в той пустыне, пока вороны не склюют его глаза.

— Ты иди, Тэд, — бросил он через плечо. — Я с ним посижу.

Дверь закрылась за ним с глухим стуком, и сразу же навалилась та особенная духота комнаты больного, какая бывает только в домах, где смерть стоит у изножья кровати, не решаясь присесть. В комнате горела всего одна свеча — оплывший огарок на блюдце у изголовья, и пламя его вздрагивало от каждого сквозняка, что сочился сквозь рассохшиеся рамы. Тени на стенах жили своей жизнью: то съёживались до размеров крысы, то вдруг вырастали до потолка горбатыми чудищами. Пахло карболкой, старым деревом и тем особенным, кисловатым запахом, какой источает лихорадящий человек, пролежавший в постели больше трёх дней.

Сэм Хейс лежал на узкой железной койке, укрытый до подбородка серым армейским одеялом. Ему было двадцать три года, и ещё в прошлый вторник он смеялся так, что лошади шарахались, а теперь его лицо напоминало восковую маску, которую забыли снять с покойника. Скулы заострились, глаза ввалились, а на щеках горел тот особенный, нехороший румянец, что страшнее любой бледности. Левое плечо бугрилось под бинтами, и сквозь марлю проступало ржавое пятно, похожее очертаниями на материк с географической карты — какая-нибудь далёкая, никому не нужная земля, где нет ничего, кроме боли.

Джим придвинул к койке колченогий табурет и сел, упёрев локти в колени. Достал из нагрудного кармана кисет с табаком, повертел в пальцах и убрал обратно — не время и не место. Сэм дышал часто и поверхностно, как загнанный же-

ребёнок, и веки его подрагивали, словно он смотрел какой-то бесконечный, мучительный сон и никак не мог проснуться.

— Сэм, — позвал шериф негромко, почти ласково. Он редко говорил таким голосом. Только с ранеными. Только с теми, кто был одной ногой за чертой. — Сэм, это Джим. Я здесь. Я вернулся.

Ресницы дрогнули. Губы, сухие и потрескавшиеся, шевельнулись беззвучно, как у рыбы, выброшенной на берег. Потом открылись глаза — мутные, затянутые лихорадочной плёнкой, с расширенными зрачками, что блуждали по комнате, не в силах ни на чём сфокусироваться. Наконец они остановились на лице Джима, и в них мелькнуло узнавание — слабое, точно свет далёкого костра в ненастной степи.

— Шериф… — выдохнул Сэм. Голос у него был сорванный, хриплый, совсем не похожий на тот звонкий тенор, каким он обычно орал «С добрым утром, Дасти-Крик!», проезжая по главной улице.

— Тише, не трать силы, — Джим взял с тумбочки жестяную кружку с водой, приподнял ему голову, помог напиться. Вода пролилась на подбородок, побежала струйкой по шее, но Сэм, кажется, и не заметил. Он вцепился здоровой рукой в рукав шерифа с неожиданной, отчаянной силой.

— Вы… вы не должны за ним гнаться один, — зашептал он, и глаза его снова стали наполняться ужасом пережитого. — Не должны. Он не человек, Джим. Я видел его. Близко. Так близко, как вас сейчас вижу. Он стоял надо мной, когда

я упал… я лежал в пыли, и кровь хлестала, и я думал — всё, конец, поминай как звали Сэма Хейса. А он подошёл. Медленно. Как будто всё время мира принадлежит ему одному.

— Что он сделал?

— Ничего. Вот что страшно. Ни-че-го. Просто стоял и смотрел. Высокий. Плечистый. Плащ чёрный, до самой земли. И маска… — Сэм закашлялся, и Джиму пришлось снова дать ему воды. — Маска из мешковины. Грубая, с прорезями. Не как у обычных бандитов, что чулок на голову натянут. Эта сшита на совесть. С клювом. Понимаете? Птица. Чёртов клюв торчит, и в прорезях — глаза. Тёмные. Мёртвые. Как две винтовочные дула.

— Он что-нибудь говорил?

— Вот тут самое паршивое, — Сэм облизал губы. — Он заговорил. Но это был не голос, Джим. Клянусь, это было шипение. Как будто гремучая змея научилась складывать слова. Шёпот… нет, даже не шёпот — выдох. «Скажи своему шерифу, — прошипел он, и каждое слово было как сухой лист, что ветер волочит по камням, — скажи своему шерифу, что я рядом. Всегда рядом. Пусть смотрит в оба, пока может. Потому что однажды он проснётся и увидит мою тень на своей стене». А потом он наклонился… — голос Сэма дрогнул, сорвался в сипение, — и я почувствовал запах. От него пахло… женщиной.

Джим нахмурился.

— Женщиной?

— Духи. Или мыло. Что-то сладкое. Лаванда, может. Не знаю. Пахло так, будто дьявол надушился перед выходом. — Сэм закрыл глаза, и по виску его стекла капля пота. — А потом меня ударили по голове, и всё провалилось в темноту. До города меня везли в телеге, среди мешков с мукой. Торговец подобрал. Сказал, я был белый, как полотно, и бредил без остановки. Джим… — он снова открыл глаза, и в них стояли слёзы — слёзы не боли, а стыда и бессилия. — Я даже выстрелить не успел. Он подошёл, а я даже револьвер поднять не смог. Просто лежал и дрожал, как заяц перед удавом. Какой из меня помощник шерифа, если я…

— Замолчи, — резко оборвал его Джим. Но резкость эта была не грубой — она была отцовской. — Ты жив. Ты остался жив после встречи с тем, кого весь Дасти-Крик боится до икоты. И ты принёс мне весть. Это больше, чем удалось кому-либо ещё. Ты — молодец, Сэм.

Помощник слабо покачал головой, но спорить не стал. Силы иссякли. Веки его отяжелели, дыхание стало чуть ровнее. Джим поправил одеяло, подоткнув его под матрас, как делала когда-то мать, и встал. Подошёл к окну, где между щелями ставен виднелась полоска лунного света. Где-то там, в этих выжженных землях, прятался человек, который пахнет лавандой и говорит голосом гремучей змеи. Человек, чьё лицо не видел никто из живых. Или видел, да некому уже рассказать.

— Я до него доберусь, — сказал Джим не Сэму — само-

му себе. Он смотрел на луну, на её холодный, равнодушный свет, и в его глазах не было ни капли романтики, только спокойная, выверенная ярость кузнечного молота. — Даже если он сам дьявол. Даже если сбежит на край земли. Я найду его логово и лично надену петлю на шею. А до того — никаких звёзд. Никакого покоя. Ты слышишь, Ворон? — последние слова он прошептал, почти не разжимая губ, и дыхание затуманило холодное стекло.

Сэм уже спал. Лихорадка на время отпустила его, и он провалился в ту тяжёлую, без сновидений темноту, что заменяет истощённому телу лекарство. Свеча догорела до основания, пламя плюнуло сизым дымком и погасло, оставив комнату в полной тишине и мраке. Только полоска лунного света на полу серебрилась, точно лезвие брошенного кем-то ножа.

Джим постоял ещё мгновение, слушая дыхание спящего, а потом бесшумно вышел в коридор, притворив за собой дверь. Дробовик снова стукнулся о половицы крыльца, кресло-качалка заскрипело в такт далёкому, тоскливому вою койота, и ночь окончательно вступила в свои права.

Глава 2. Гостья

А три дня спустя, когда пыль, поднятая нападением на дилижанс, успела осесть и превратиться в слухи, субботний вечер в «Ржавой подкове» наступил не с колокольным звоном, а с первым аккордом расстроенного пианино, на котором косой одноухий немец по имени Отто наигрывал что-то отдалённо похожее на «Девушку из Ларами». Звуки плыли сквозь табачный дым, густой и сизый, точно туман над болотом, и смешивались с гулом голосов, звоном стаканов, хриплым смехом и редкой руганью. «Ржавая подкова» в субботу напоминала ковчег, куда всякий сброд сбегался от страха перед тишиной прерии, — ковбои с ближних ранчо, старатели с западных отрогов, картёжники, что спали прямо под столами, и пара девиц из заведения миссис Флэтчер, что сидели в углу, обмахиваясь веерами из крашеных индюшачьих перьев.

Воздух здесь был спёртым и тяжёлым, настоянным на дешёвом виски, лошадином поте и прогорклом масле, в котором жарили бифштексы. Керосиновые лампы под потолком чадили, отбрасывая на грубо отёсанные стены колышущийся оранжевый свет. В этом свете лица людей казались вырезанными из старого дерева — грубыми, обветренными, со складками у рта и глаз, похожими на следы ножа на дублёной коже.

Джим Картер стоял у дальнего конца стойки, опершись локтем о липкое от пролитого пива красное дерево. Перед ним стоял стакан с нетронутым виски — он заказал его час назад, но так и не притронулся, потому что пить в субботу одному было сродни молитве в пустой церкви. Рана в боку уже не ныла так сильно, только иногда напоминала о себе тупым толчком, когда он неловко поворачивался. Док Макалистер сказал, что кость цела, но синяк сойдёт не раньше чем через месяц. Джим кивнул и вышел. Синяки его не пугали. Пугало другое — та странная тишина, что поселилась в городе после нападения на дилижанс, тишина ожидания, в которой каждый скрип ставней казался шагами покойника.

Бармен, толстый лысеющий ирландец по имени Орвилл Флэттери, вытирал стаканы замызганным полотенцем и поглядывал на дверь.

— Ждёшь кого, Орвилл? — спросил Джим, не поворачивая головы.

— Представление нынче, — отозвался бармен. Он говорил с той особенной, чуть шепелявой интонацией, какая бывает у людей, потерявших передний зуб в юношеской драке. — Новенькая певица. Приехала вчера на попутном фургоне из Эль-Пасо. Заплатила за неделю вперёд, попросила сцену на вечер. Я сказал — пой, если умеешь. А если нет — выметайся. Она только усмехнулась. Странная девица, Джим. Слишком красивая, чтобы колесить одна. Слишком спокойная, чтобы не иметь за душой какого-нибудь греха.

Шериф ничего не ответил. Он смотрел в стакан, где виски ловил свет лампы и держал его, точно жидкий янтарь. Красивая женщина в Дасти-Крике была явлением более редким, чем дождь в июле. Красивая женщина, путешествующая одна, — и вовсе событием, от которого веяло не романтикой, а опасностью, как веет холодом от приоткрытой двери в склеп.

В этот момент Отто перестал играть. Тишина наступила не сразу — сперва стихли голоса за ближними столиками, потом за дальними, и наконец даже пьяный старатель, что дремал, уронив голову на руки, поднял всклокоченную бороду и уставился на сцену. А на сцену — три шаткие дощатые ступеньки и помост из сосновых досок — выходила женщина.

Она появилась не из-за кулис, потому что кулис в «Ржавой подкове» не было, а просто вышла из боковой двери, что вела в комнаты для постояльцев, и ступила в круг света от лампы, висящей над сценой на ржавой цепи. И когда она ступила, по залу пронёсся вздох — тот самый, какой издаёт толпа, увидевшая нечто, чего она не ожидала и не заслуживала.

Платье на ней было из синего бархата — глубокого, тёмно-синего, как небо перед грозой, как вода в горном озере, куда никогда не падал солнечный луч. Оно облегало фигуру, точно его шили прямо на теле, и при каждом шаге ткань ловила свет и отдавала его обратно мягкими, переливчатыми волнами. Вырез открывал бледную шею и тень между ключицами, а длинные рукава заканчивались узкими манжетами

на запястьях. Ни украшений, ни кружев — только бархат и кожа, молоко и тень. Волосы, тёмные и тяжёлые, были собраны в низкий узел, но несколько прядей выбились и обрамляли лицо — тонкое, с высокими скулами и ртом, который казался нарисованным чьей-то жестокой, уверенной рукой.

Джим поставил стакан на стойку. Звук вышел глухой, точно удар сердца.

Женщина обвела зал взглядом — медленно, без тени робости или кокетства, как обводит поле битвы генерал, оценивающий расстановку сил. Глаза у неё были тёмные, почти чёрные в этом освещении, и они ничего не отражали. Джим встречал такие глаза у людей, переживших многое и похоронивших ещё больше. Глаза, в которых поселилась пустыня.

— Добрый вечер, джентльмены, — произнесла она, и голос её оказался низким, грудным, с лёгкой хрипотцой, точно надтреснутый колокол. — Меня зовут Изабель Грей. Я спою вам несколько песен, если вы не против.

Кто-то присвистнул. Кто-то хлопнул по столу. Орвилл перестал вытирать стакан и замер с полотенцем в руке. Изабель чуть улыбнулась уголками губ — не тёплой улыбкой, а той, что говорит: «Я знаю, чего вы ждёте, и знаю, что не получите», — и кивнула Отто. Немец, опомнившись, ударил по клавишам. Начальная нота вышла смазанной, но певицу это не смутило. Она запела.

Это была старая баллада — «Девушка с зелёными глазами», — которую в этих краях слышали сотни раз, но в её

исполнении она звучала совершенно иначе. Голос лился, заполняя все углы прокуренного зала, проникал под кожу, заставляя забывать о виски, о картах, о завтрашнем дне. Он был тягучим, как мёд, и горьким, как полынь, он обещал тоску и нежность одновременно, и в нём слышалась странная, нездешняя мудрость — словно певица знала о любви и смерти то, чего не знал никто из сидящих в этом салуне, да и не должен был знать.

Джим слушал, не шевелясь. Пальцы его сами собой сжали край стойки. Он смотрел, как она поёт, как двигаются её губы, как поднимается и опускается грудь под синим бархатом, и чувствовал что-то, чего не чувствовал уже много лет — ещё с тех пор, как погиб его напарник, а до того умерла мать, и мир сузился до размеров револьверного ствола и конского крупа. Это чувство было похоже на жажду — внезапную, острую, почти болезненную, — и одновременно на страх, потому что он знал: вода, которую предлагают в пустыне, иногда оказывается миражом, а иногда — отравленным колодцем.

Песня закончилась. Тишина стояла такая, что слышно было, как за окном ветер катит по улице перекати-поле. Потом зал взорвался криками и аплодисментами — били кружками по столам, топали сапогами, свистели. Старатель, что спал, проснулся окончательно и орал «Браво!», хотя, вероятно, не слышал ни единой ноты. Изабель чуть склонила голову, принимая овации с тем же спокойным, ничего не выражающим

лицом, и её взгляд снова скользнул по толпе — скользнул и остановился.

На Джиме.

Их глаза встретились поверх голов, поверх дыма, поверх всего этого шума и гвалта. Это длилось всего мгновение, но Джиму показалось, что время застыло, как застывает вода в ручье перед первыми заморозками. В её взгляде он прочитал не интерес, не кокетство — вызов. Спокойный, трезвый, почти насмешливый вызов, словно она бросала ему перчатку, зная, что он не посмеет её поднять. И обещание — смутное, тёмное обещание, от которого у него пересохло во рту сильнее, чем от трёх порций виски.

Она отвела глаза первой. Повернулась и ушла со сцены так же, как появилась, — беззвучно, только бархат прошелестел по доскам, точно крылья большой ночной птицы.

Джим выдохнул. Он и не заметил, что задержал дыхание.

— Ну что, шериф, — раздался рядом голос Орвилла, — кажется, ты попался.

Джим медленно повернулся к бармену. Флэттери смотрел на него с понимающей, чуть ехидной ухмылкой, но в глазах его читалась и тень беспокойства — того самого, что испытывает старый пёс, когда в дом приходит чужак, пахнущий волком.

— Что тебе о ней известно? — спросил Джим, не реагируя на подначку.

— Я же сказал: приехала вчера. Одна. С одним чемоданом

и гитарой в чехле. Спросила комнату, спросила про сцену. Заплатила серебром, не торгуясь. Документов не показывала, а я не спрашивал — у нас тут не банк.

— Она сказала, откуда?

— Из Додж-Сити, кажется. Или из Остина. Да я, честно говоря, не запомнил. — Орвилл почесал лысину. — Знаешь, что странно? Она не спросила про охрану. Женщина, одна, в таком городе, как наш, — любая бы первым делом спросила, есть ли в городе шериф. А она даже твоего имени не упомянула. Как будто ей и не нужно.

Джим задумчиво повертел в пальцах стакан. Виски так и остался нетронутым.

— Она сказала, сколько пробудет?

— Сказала — неделю. Может, две. Говорит, устала с дороги, ищет тихое место, чтобы отдохнуть от людей. — Орвилл усмехнулся. — В Дасти-Крике. Отдохнуть от людей. Шутница.

Шериф бросил на стойку монету — больше, чем стоил виски, — и выпрямился. Плащ его висел на спинке стула у входа; он взял его, перекинул через руку и направился к двери.

— Поставь кого-нибудь у чёрного хода, Орвилл, — бросил он, не оборачиваясь. — На всякий случай. Твоя новая певица может стоить дороже, чем кажется.

— Ты думаешь, она из шайки? — тихо спросил бармен, подавшись вперёд.

Джим остановился у самой двери. Снаружи ветер швырял пригоршни песка в ставни, и где-то на окраине одиноко брехала собака — не зло, а так, по привычке, словно напоминая ночи, что тут ещё живут люди.

— Я ничего пока не думаю, — ответил он. — Просто не люблю совпадений.

Он толкнул дверь и вышел в пыльную, звёздную ночь Дасти-Крика. За спиной у него Отто снова ударил по клавишам, и чей-то пьяный голос затянул «Клементину», но всё это звучало теперь далеко, приглушённо, как музыка с другого берега реки. Джим постоял на крыльце, глядя на луну — ту самую, что светила ему в лицо три дня назад, когда он вёз Сэма в город. Луна была всё та же, равнодушная и вечная, но что-то в мире изменилось. Что-то неуловимое, как запах лаванды, просочилось в воздух и осталось там, свернувшись змеёй под камнем.

Он не знал ещё, что эта ночь — субботний вечер в салуне, песня о девушке с зелёными глазами, синий бархат на дощатой сцене — будет сниться ему потом в кошмарах. Не знал, что женщина по имени Изабель Грей приехала в его город с единственной целью, и цель эта не имела ничего общего ни с отдыхом, ни с музыкой, ни с бегством от прошлого. Он знал только одно: её глаза, встретившие его поверх толпы, уже поселились где-то в его сознании, как квартирант, что не платит за постой, но выжить его невозможно.

Джим застегнул плащ, надвинул шляпу на лоб и заша-

гал по пустой улице к своему кабинету, где на столе лежали разложенные карты и недописанные рапорта. Пыль скрипела под каблуками. Где-то в темноте ухнул сыч. И два окна на втором этаже «Ржавой подковы» ещё долго горели жёлтым светом, пока наконец не погасли — одно за другим, словно два глаза, что закрылись, не прощаясь.

Джим дошёл до конторы, но внутрь не зашёл. Остановился на дощатом тротуаре, глядя на дверь, обитую жестью, с потускневшей медной звездой, прибитой над косяком. Ключ лежал в кармане жилета, тёплый от тела, но он не спешил его доставать. Что-то держало его здесь, в этой продуваемой ветром темноте, что-то зудело под кожей, как заноза, которую не ухватить пальцами. Луна перевалила через колокольню методистской церкви и висела теперь прямо над головой — круглая, равнодушная, заливающая улицу мертвенным серебром. Тени от столбов коновязи лежали поперёк дороги, точно трещины в реальности.

Он сунул руку в карман плаща и не нашёл перчаток. Выругался сквозь зубы — старые, кожаные, с потёртостями на указательном пальце от курка. Мать подарила их перед смертью, сказала: «Руки у тебя рабочие, сынок, береги их, они ещё пригодятся, когда ты перестанешь искать, во что стрелять». Перчатки лежали на стойке «Ржавой подковы», рядом с нетронутым виски. Джим постоял ещё мгновение, взвешивая, стоит ли возвращаться в салун, где ещё гудела пьяная толпа, или послать за ними утром. Но мысль о том, что пер-

чатки пролежат там всю ночь, пропитаются чужим дымом и чужими пальцами, оказалась невыносимой. Он развернулся и зашагал обратно.

Когда он подошёл к «Ржавой подкове», шум внутри уже стихал. Последние завсегдатаи выходили на крыльцо, пошатываясь и хлопая друг друга по плечам, исчезали в темноте, словно фигуры в дешёвом театре теней. Дверь ещё держалась нараспашку, и оттуда вытекал на улицу мутный прямоугольник света, пропитанного табачной гарью. Отто, немец-пианист, уже спал в углу, положив голову на клавиши, и тишину нарушал только храп да позвякивание стаканов, которые Орвилл собирал со столов.

Джим вошёл, шагнув через порог, и подошвы его сапог прилипли к доскам пола, пропитанным десятилетиями пролитого виски. Орвилл стоял за стойкой, пересчитывая мелочь из жестянки, служившей кассой. Увидев шерифа, он поднял бровь.

— Забыл что-то? Или решил всё-таки выпить? — спросил он, отодвигая жестянку в сторону.

— Перчатки, — коротко ответил Джим. Он обвёл глазами стойку, заметил их там, где оставил, — тёмный кожаный комочек рядом с его нетронутым стаканом. Протянул руку, взял, начал натягивать. — Твоя певица, — произнёс он, не глядя на бармена, — что она ещё говорила?

Орвилл перестал копаться в мелочи. Прислонился бедром к стойке, сложил руки на груди — жест человека, который

собирается рассказать нечто, что ему самому кажется значительным.

— Пока ты ушёл, она спустилась. Спросила, можно ли заказать чай в комнату. Горячей воды, говорит, и мяты, если есть. У нас, конечно, нет ни чая, ни мяты, ни, чёрт возьми, горячей воды после десяти вечера. Я предложил виски. Она отказалась. Сказала, что не пьёт ничего крепче патоки, и то по праздникам. — Орвилл хмыкнул. — Представляешь? В этом городе. Не пьёт.

Джим натянул вторую перчатку, размял пальцы, проверяя, хорошо ли села кожа. Сквозь щели в ставнях сочился лунный свет — тонкие, как лезвия, полоски, что резали пол на аккуратные сектора.

— Что она говорила про себя? — спросил он.

— Сказала, едет из Додж-Сити. Была там какое-то время, пела в заведении под названием «Золотой телец». Но там, мол, стало слишком шумно, слишком много стрельбы, слишком много людей, что не умеют слушать музыку. Она сказала — ей нужно тихое место. Место, где никто не задаёт лишних вопросов. — Орвилл замолчал, глядя в угол, где мигал догорающий фитиль последней лампы. — А потом спросила про тебя.

Джим замер. Перчатка уже сидела на руке, но он продолжал теребить манжету, словно та жала.

— Что именно?

— Спросила, есть ли в городе закон. Я сказал — есть. Ше-

риф. Джим Картер. Хороший человек, говорю, хотя слишком много на себя берёт и слишком мало спит. Она улыбнулась. Знаешь, такой улыбкой — будто я рассказал ей анекдот, но она не уверена, смеяться или нет. А потом говорит: «Я путешествую одна. Без спутников, без оружия — только гитара и смена белья. Такие места, как ваш город, бывают жестоки к женщинам, что странствуют в одиночку. Я надеюсь, ваш шериф не откажет мне в защите, пока я здесь». — Орвилл поскрёб затылок. — Я сказал, что ты человек долга. Что если кто и может постоять за неё в этом забытом Богом месте, так это ты. Она кивнула и ушла наверх. Больше ничего.

Джим стоял неподвижно. В голове его крутились обрывки мыслей, точно осенние листья на ветру: «путешествует одна», «без оружия», «просит защиты». Всё это звучало слишком складно, слишком гладко, как история, которую репетировали перед зеркалом. Женщина с таким лицом и таким голосом не должна была оставаться одна ни на милю в этих диких землях — такие женщины обрастают поклонниками и врагами быстрее, чем револьвер гильзами. Если только она сама не выбирала одиночество. И если только одиночество это не было оружием.

— Она говорила, сколько именно пробудет? — спросил Джим.

— Неделю, может, две. Заплатила вперёд за семь дней серебром, без единого вопроса. Сказала, если понравится —

останется дольше. Если нет — уедет, и никто её больше не увидит.

— Документы? Имя настоящее?

Орвилл пожал плечами.

— Бумаг не показывала, но я и не требовал. Сказала — Изабель Грей. Звучит как сценическое имя, но кто я такой, чтобы копаться? Может, её папаша был серым кардиналом, — бармен усмехнулся собственной шутке.

Джим взял со стойки нетронутый стакан виски, посмотрел сквозь жидкость на свет лампы. Жидкое золото, подумал он, золото, которое не спасёт ни от чего. Он выплеснул содержимое в плевательницу у стойки, поставил стакан на место.

— Что-то не так, Джим? — спросил Орвилл. Голос его стал серьёзным. — Ты смотришь так, словно в этой женщине увидел покойника.

— Я видел достаточно покойников, чтобы знать, как они выглядят, — ответил шериф. — Она не похожа на покойника. Она похожа на того, кто их создаёт.

Орвилл открыл было рот, чтобы что-то возразить, но промолчал. Тишина в салуне стала почти осязаемой — плотной, как ватное одеяло. Где-то наверху скрипнула половица. Раз, другой. И тишина. Джим поднял голову к потолку, за которым, в одной из тесных комнатушек под крышей, лежала сейчас женщина в синем бархате, и на мгновение ему показалось, что скрип этот был шагом не человека, а чего-то иного — более лёгкого и более древнего. Зверя, что кружит

вокруг добычи.

— Запри чёрный ход, Орвилл, — сказал он, направляясь к двери. — И не спускай с неё глаз. Не потому, что она в опасности. Потому, что опасность может быть в ней самой.

— Ты думаешь, она из шайки Чёрного Ворона? — спросил бармен почти шёпотом, словно само имя могло призвать тьму.

Джим остановился на пороге. Ветер ударил ему в лицо, принеся откуда-то с юга запах полыни и чего-то сладковатого, почти приторного — так пахнут цветы, что растут на могилах. Он нахмурился, пытаясь поймать этот запах, но ветер переменился, и всё исчезло.

— Я ничего пока не думаю, — повторил он слова, сказанные час назад. — Но если Чёрный Ворон — мужчина, то у него должны быть сообщники. Глаза и уши. Кто-то, кто может войти в город, не вызывая подозрений. Кто-то, кого не станут обыскивать и к кому не приставят охрану. Кто-то вроде красивой певицы, что просит защиты.

Он нахлобучил шляпу и вышел в ночь. За спиной скрипнула и захлопнулась дверь. Лязгнул засов. И над Дасти-Криком снова повисла тишина — та особенная, гнетущая тишина, в которой даже ветер, казалось, крался на цыпочках, боясь разбудить спящее зло.

Глава 3. Танец под луной

Утро после субботы наступило в Дасти-Крике тихое и пыльное, как наступает всякое утро в городах, которые медленно умирают, сами того не замечая. Воскресный колокол методистской церкви пробил девять раз, но никто не пошёл на службу — пастор Уилкинс запил ещё в пятницу, и двери храма стояли запертыми, а на ступенях грелась тощая рыжая кошка, единственное существо в городе, не ведавшее страха перед будущим. Джим провёл утро в конторе, составляя рапорт о нападении на дилижанс, но слова не шли — перо царапало бумагу, оставляя кляксы, и каждая фраза казалась фальшивой, точно он описывал не событие, а его тень. В конце концов он бросил перо и вышел на крыльцо, подставив лицо сухому, горячему ветру, что дул с юга и пах песком, шалфеем и чем-то ещё — отдалённым, едва уловимым, как воспоминание о дожде.

Она появилась на главной улице около полудня. Не вышла из салуна, а именно появилась — словно материализовалась из дрожащего марева над дорогой. На ней было простое серое платье с белым воротничком, и в этом скромном наряде она казалась ещё опаснее, чем вчера в бархате, потому что теперь ничто не отвлекало от её лица, от этих тёмных, неподвижных глаз, что смотрели на мир с терпеливой, почти нечеловеческой отстранённостью. В руках она держа-

ла закрытый зонтик от солнца — нелепый, кружевной, явно повидавший лучшие дни, — и при виде этого зонтика Джим ощутил укол странной, щемящей нежности, которую тут же подавил, как подавляют кашель в засаде.

— Доброе утро, шериф, — произнесла она, остановившись у коновязи. Голос её звучал мягко, но в нём слышалась та же сдержанная ирония, что и вчера. — Я думала, в этом городе никто не встаёт раньше полудня.

— В этом городе вообще много чего никто не делает, — ответил Джим, спускаясь на ступеньку. — Например, не гуляет в одиночку после заката. Вы разве не слышали? Тут по округе бродит банда.

— Слышала. — Она чуть наклонила голову, и солнечный луч скользнул по её щеке, высветив тонкую голубую жилку у виска. — Именно поэтому я и пришла к вам. Вы — закон. А закон, говорят, существует, чтобы защищать.

— Кто говорит?

— Все. Так написано в книгах.

— Вы верите книгам?

— Я верю людям, которые их пишут. А они пишут о законе, о чести, о мужчинах, что носят звёзды и не прячутся за чужие спины. — Она улыбнулась, но улыбка эта не коснулась глаз. — Я путешествую одна, шериф. Без спутников, без оружия. В моём багаже только гитара и смена белья. Орвилл сказал, вы — человек, к которому можно обратиться за защитой. Я и обращаюсь.

Джим смотрел на неё и думал о том, что каждое её слово — гладкое, обкатанное, точно речная галька, — ложится в его сознание с подозрительной лёгкостью. Она не просила, она констатировала. Она не боялась, она позволяла ему думать, что он нужен. И это было самое опасное — потому что нужным он не был никому уже много лет, и забытое это чувство опьяняло сильнее виски.

— Я подумаю, что можно сделать, — сказал он наконец. — Вечером, если хотите, могу показать вам город. То, что от него осталось.

— Это приглашение, шериф?

— Это предосторожность. Если вы собираетесь тут жить, вам стоит знать, куда не ходить после темноты.

— А куда ходить?

Он помолчал. Где-то за спиной, в тени конюшни, конюх-мексиканец насвистывал сквозь зубы «Ла Кукарачу», и этот беспечный мотив резал тишину, как нож.

— Никуда, — ответил Джим. — В Дасти-Крике после темноты ходят только дураки и мертвецы.

Она рассмеялась — тихо, низко, и смех этот прокатился по его позвоночнику тёплой волной. Не дожидаясь ответа, она раскрыла зонтик и пошла дальше по улице, прямая, спокойная, как кошка, что гуляет по краю пропасти, зная, что не упадёт. Джим смотрел ей вслед до тех пор, пока серая ткань платья не растворилась в дрожащем мареве, и только тогда заметил, что правая рука его сжимает перила крыльца с та-

кой силой, что костяшки побелели.

Весь день он провёл как в лихорадке. Проверил посты, навестил Сэма — тому стало лучше, он уже сидел на койке и ел жидкую овсянку, которую принесла вдова МакГрат, — потом проехался к западному выезду, где двое помощников дежурили у старой водокачки. Всё было тихо. Слишком тихо. «Чёрный Ворон» не нападал дважды на одно и то же место, это Джим знал точно, но тишина эта казалась ему не передышкой, а затишьем перед ударом. Или, может быть, он просто искал оправдание собственному беспокойству, тому глухому, ноющему чувству, что поселилось где-то под рёбрами и не уходило с тех пор, как Изабель Грей спела свою первую ноту.

Когда солнце начало клониться к закату, он вернулся в город, поставил Мэг в конюшню, умылся из бочки во дворе конторы и долго стоял перед мутным зеркалом, разглядывая своё лицо. Лицо это было обветренным, с морщинами у глаз, прорезанными годами, проведёнными под открытым небом, с тонким белым шрамом на скуле — память о ноже в Сент-Луисе, — и с глазами, в которых поселилась та особая усталость, что приходит не от работы, а от потерь. Он пригладил волосы ладонью, одёрнул жилет, проверил револьвер — старый «Кольт» с потёртой рукоятью из оленьего рога, — и вышел на улицу.

Она ждала его на дощатом тротуаре у салуна. Закат догорал за её спиной — полосы алого и золотого, точно кто-то

провёл кистью по небу в последний раз перед тем, как опустить тьму. Она была в том же синем платье, что и вчера, и бархат в закатном свете казался почти чёрным, впитывая последние лучи. Шаль из тонкой шерсти — серая, с вышитыми по краю синими цветами — покрывала плечи.

— Я думала, вы передумали, — сказала она.

— Я не передумываю, — ответил он, подходя ближе. От неё пахло лавандой. Той самой, о которой бредил Сэм. Джим заставил себя не думать об этом. — Просто проверял посты. Пойдёмте. Я покажу вам Дасти-Крик. Это займёт минут десять, не больше.

Они пошли по главной улице — он чуть впереди, она рядом, но на расстоянии вытянутой руки, и молчание между ними было наполнено стрекотом сверчков и шорохом их шагов по доскам тротуара. Джим показывал здания — почта, где уже неделю не было писем, кузница, где старый Джо Дженкинс ковал подковы и читал Библию между ударами молота, лавка миссис Хартли, где продавались ткани и пуговицы и прочая дребедень, необходимая женщинам, которых в Дасти-Крике почти не осталось. Изабель слушала молча, иногда кивая, иногда задавая короткие, точные вопросы, и по этим вопросам Джим понимал, что она умна — умнее, чем хочет казаться.

— А что там? — спросила она, указывая на восток, где за последними домами начиналась прерия и уходила в темноту, сколько хватало глаз.

— Там — ничего, — ответил он. — Пустыня. Камни. Змеи. Каньон Скорпиона милях в десяти, но туда лучше не соваться без надобности. И Западное ущелье, где, если верить слухам, прячется «Чёрный Ворон». Я был там трижды. Ни следа.

— Может быть, он прячется там, где вы не ищете.

— Может быть. Но где — это?

Она не ответила. Вместо этого остановилась и подняла голову к небу, где уже проступали первые звёзды — бледные, неуверенные, словно нарисованные мелом. Луна только-только показалась над горизонтом, огромная и жёлтая, как налившийся соком плод, и заливала улицу светом, при котором тени становились резче, а краски — глубже.

— Здесь красиво, — сказала она тихо, почти шёпотом, и в голосе её на мгновение мелькнуло что-то настоящее, не сыгранное. — По-своему. Как в церкви. Только вместо икон — земля, а вместо свечей — луна.

Джим посмотрел на неё. В лунном свете лицо её казалось выточенным из слоновой кости — бледное, безупречное, с тенями под скулами и влажным блеском в глазах. Она стояла неподвижно, и только шаль чуть шевелилась на плечах от ночного ветерка, да прядь волос, выбившаяся из узла, касалась щеки. В этот миг он почти забыл, кто она — незнакомка из ниоткуда, певица без прошлого, женщина, пахнущая лавандой, тем самым запахом, о котором твердил Сэм в бреду. Почти. Но не совсем.

— Вы танцуете, шериф? — спросила она вдруг, повернувшись к нему.

— Что?

— Танцуете. Ну, вальс, польку, что-нибудь такое. Там, где вы росли, наверняка были танцы. В каждом городе бывают.

— Я вырос на ранчо в сорока милях от ближайшего города, — сказал Джим. — Танцы у нас были раз в год, на День независимости. И то я больше стоял у стены и смотрел.

— Почему?

— Потому что не умел.

Она улыбнулась — на этот раз по-настоящему, тепло, без обычной своей иронии, — и протянула ему руку. Ладонь её в лунном свете казалась почти прозрачной.

— Я научу. Это просто. Раз-два-три. Раз-два-три. Ну же, шериф. Вы боитесь?

Он боялся. Боялся не танца — боялся того, что происходило с ним в эту минуту, того, как рушились стены, которые он возводил годами, как таяла в груди привычная тяжесть, и на её месте распускалось что-то тёплое, живое, давно забытое. Но он взял её руку. Ладонь оказалась сухой и прохладной, а пальцы — длинными, сильными, совсем не такими, каких он ожидал от певицы.

Она положила его левую руку себе на талию, а правую сжала крепче. Ткань платья под его пальцами была мягкой, как звериный мех, и тёплой от её тела. Она начала считать — раз-два-три, раз-два-три, — и они закружились по дощато-

му тротуару, поднимая пыль, что серебрилась в луне, точно растёртое стекло. Джим двигался неловко, спотыкался, пару раз наступил ей на подол, но она не смеялась — только поправляла его тихим голосом и вела, вела, как ведёт река брошенный в воду лист. Музыки не было, только сверчки и ветер, но каким-то чудом этого хватало.

— Вы быстро учитесь, — сказала она, когда он перестал смотреть под ноги и наконец поднял глаза. Они оказались совсем близко — её лицо в каком-то футе от его лица, — и в лунном свете он увидел, что глаза у неё не чёрные, а тёмно-карие, с золотыми искорками у зрачка. — Для человека, что стоял у стены.

— Хороший учитель, — ответил он хрипло.

Они остановились. Ветер стих. Где-то далеко, за милю, завыл койот — высоко и тоскливо, как плач ребёнка. Джим всё ещё держал её за руку и за талию, и она не отстранялась. Её лицо было совсем близко, и он чувствовал её дыхание — лёгкое, размеренное, ничуть не сбившееся после танца. От неё пахло лавандой и ещё чем-то — чем-то тёплым, похожим на нагретую солнцем глину.

— Почему вы стали шерифом? — спросила она вдруг, и вопрос этот прозвучал так неожиданно и так просто, что Джим ответил раньше, чем успел подумать.

— Потому что однажды не смог защитить того, кого должен был. И решил, что больше этого не повторится.

— И как? Получается?

Он отпустил её талию, но руку не выпустил. Они стояли теперь лицом друг к другу посреди пустой улицы, под луной, и были похожи на двух актёров, забывших свои реплики.

— Нет, — сказал он. — Не получается. Каждый раз кто-то умирает. Помощник, друг, случайный прохожий. А я остаюсь. Стою, как сейчас, и думаю: что я сделал не так?

Она слушала, не перебивая. Её пальцы чуть сжали его ладонь — жест, который мог быть утешением, а мог быть и насмешкой.

— Три года назад, — продолжал он, и слова шли трудно, точно камни из горла, — у меня был напарник. Билл. Билл О'Ши. Ирландец, рыжий, с веснушками и смехом, от которого лошади успокаивались. Мы охотились на одного человека — налётчика, грабившего банки от Техаса до Миссури. Выследили его в Холлоу-Крик. Загнали в угол. Но он ждал нас. У него был «Генри», многозарядная винтовка, и он выпустил всю обойму до того, как я успел хоть раз выстрелить. Билл принял три пули. Три. Пока я лежал за бочкой и ждал, когда этот ублюдок перезарядится. — Голос его дрогнул. — Я убил его потом. Голыми руками. Но Билла это не вернуло.

Изабель молчала. Потом высвободила руку — не резко, мягко — и поправила съехавшую шаль. Лицо её было спокойным, но в глазах, в самой их глубине, мелькнуло что-то похожее на понимание. Или на его искусную имитацию.

— Вы носите эту вину, как носят старую рану, — сказала она тихо. — Она не заживает, но вы привыкли. Привыкли к

боли. Это делает вас сильнее, но и слепее. Вы смотрите на мир сквозь эту боль, и всё, что видите, окрашено ею.

— А вы? — спросил он. — Вы через что смотрите?

Она отвернулась. Ветер снова поднялся, пригибая траву у дороги и неся запах полыни — горький, резкий, почти невыносимый.

— Я смотрю сквозь пустоту, — ответила она, и голос её прозвучал глухо, словно из-под земли. — Мой жених погиб. Давно. В Додж-Сити. Его застрелили в уличной перестрелке — случайная пуля, случайная смерть. Мы должны были пожениться весной. Он был хорошим человеком. — Она помолчала. — Наверное, хорошим. Теперь я уже не помню. Помню только, как он смеялся. И как кровь текла по его лицу, когда я его нашла. С тех пор я не привязываюсь к людям. Это проще. Безопаснее.

Джим слушал и не знал, верить ли. История была слишком гладкой, слишком складно ложилась в их разговор, но в голосе её слышалась та особая, надтреснутая нота, которую невозможно подделать. Или возможно — если ты великая актриса.

— Мне жаль, — сказал он просто.

— Не стоит. — Она повернулась к нему, и на лице её снова была та же лёгкая, загадочная улыбка, что и прежде. — Мёртвые не нуждаются в жалости. Только живые. Вы ещё покажете мне город, шериф? Или урок танцев был финалом экскурсии?

Он невольно усмехнулся. Напряжение, что висело между ними, чуть рассеялось, хотя не исчезло совсем.

— Тут нечего больше показывать, — сказал он. — Дальше только прерия. И кладбище на холме, но туда я вас не поведу.

— Почему?

— Потому что на кладбище ходят днём. А ночью там хозяйничают койоты.

Она кивнула, принимая это объяснение. Они медленно пошли обратно к салуну — на этот раз молча, но молчание это было иным, не таким, как в начале прогулки. Оно было наполнено тем, что было сказано, и тем, что осталось невысказанным, и Джим чувствовал, как с каждым шагом что-то внутри него меняется — незаметно, необратимо, словно русло реки, что подмывает берег изнутри.

У дверей «Ржавой подковы» она остановилась. Свет из окон падал на её лицо, и в этом свете оно снова стало чужим, отстранённым.

— Спокойной ночи, шериф, — сказала она.

— Спокойной ночи, мисс Грей.

Она уже взялась за дверную ручку, но замерла и обернулась через плечо.

— Джим, — произнесла она, и звук его имени из её уст ударил его сильнее, чем пуля в Скорпионовом каньоне неделю спустя. — Вы хороший человек. Жаль, что хорошие люди долго не живут.

И она исчезла за дверью, оставив его стоять на тротуаре

под луной, с чувством, будто ему только что вынесли приговор. Он не знал ещё, что приговор этот был давно вынесен и что исполнителем его станет та, кто только что назвала его по имени. Но где-то в глубине души, в той её части, что ещё не разучилась чуять опасность, он уже слышал далёкий, едва различимый каркающий смех.

Однако вместо того чтобы уйти, он словно прирос к месту. Изабель тоже не спешила подниматься — какая-то невысказанная тяжесть ещё висела между ними, и обоим требовалось ещё немного времени на этом странном перепутье ночи. Тогда они дошли до скамейки у кузницы — старой, почерневшей от времени, с чугунными ножками, что вросли в землю, как корни мёртвого дуба. Отсюда был виден весь Дасти-Крик: редкие огни в окнах, тёмный силуэт водокачки на окраине, лунная дорожка на пыльной улице, что уходила за горизонт и там сливалась с Млечным Путём, рассыпанным по небу, точно мука из прорванного мешка. Джим смахнул со скамейки слой песка, нанесённого ветром, и они сели — не близко, но и не на разных концах, а так, как садятся люди, которых что-то связывает, но что именно, они сами ещё не понимают.

Изабель куталась в шаль. Ночной воздух остывал быстро, как всегда в пустыне, и от земли тянуло холодом, что скапливался за день в глубоких трещинах пересохшей почвы. Где-то на колокольне методистской церкви скрипнул флюгер — жестяной петух, что показывал направление ветра уже лет

двадцать, а может, и больше, никто не помнил. Ветер дул с севера, и это было плохим знаком: северный ветер в этих краях приносил только пыльные бури и дурные вести.

— Мой жених, — начала она, и голос её прозвучал тихо, но без дрожи, — был помощником маршала. В Додж-Сити. Вы, наверное, слышали про Додж — это не город, это драка, притворившаяся городом. Каждый вечер стрельба, каждое утро — покойники. Он говорил, что хочет уйти. Говорил, накопим денег, купим ранчо где-нибудь в Вайоминге, заведём лошадей, детей, яблоневый сад. Он любил яблоки. Говорил, запах яблоневого цвета — это запах рая. Я смеялась. А потом он пошёл разнимать драку в салуне — обычную пьяную драку, даже не перестрелку, — и какой-то старатель, которого он даже не знал, ударил его ножом под ребро. Один удар. Лезвие прошло между рёбрами, как масло. Он умер у меня на руках, на дощатом тротуаре, под вывеской «Золотого тельца». Кровь текла по доскам и капала в пыль, и я всё думала — как же так, он ведь даже не достал револьвер. Он даже не думал, что это может случиться. Он был хорошим человеком, а хорошие люди всегда думают, что смерть приходит только к плохим.

Она замолчала. Ветер тронул край её шали, перебросил через плечо прядь волос. Джим смотрел прямо перед собой, на тёмную громаду кузницы, где в золе ещё тлели угли, и слушал. Что-то в её истории царапало его, как зазубрина на лезвии, но он не мог понять, что именно. Может быть, слиш-

ком много подробностей. Может быть, слишком мало слёз.

— После этого я уехала, — продолжала она. — Собрала чемодан и уехала. Куда глаза глядят. Пела в Сан-Антонио, в Эль-Пасо, в полудюжине городов, названий которых уже не помню. Люди везде одинаковы — они хотят, чтобы кто-то спел им о любви, пока они пьют своё виски. Им всё равно, кто поёт. Им всё равно, что у певицы внутри. Главное — чтобы голос был красивый.

— И вы так живёте? — спросил Джим. — Переезжая с места на место?

— А как ещё жить? — Она повернулась к нему, и в лунном свете её лицо казалось вырезанным из пергамента. — Привязаться к кому-то — значит дать ему власть над собой. Полюбить — значит вручить нож и показать, куда бить. Я больше никому не даю такой власти. Никому и никогда.

Она произнесла это спокойно, почти буднично, но в голосе её прозвучала та особая, холодная убеждённость, что свойственна людям, которые долго жили с болью и сделали её частью себя. Джим знал этот голос. Он сам говорил таким голосом последние три года.

— Это одиночество, — сказал он негромко.

— Это свобода, — ответила она. — Одиночество — это когда ты хочешь быть с кем-то, но не можешь. Свобода — когда можешь, но не хочешь.

— А вы можете?

Она не ответила сразу. Пальцы её теребили бахрому ша-

ли, сплетая и расплетая нити, и жест этот был единственным признаком скрытого волнения. Луна за это время поднялась выше и висела теперь прямо над колокольней, окружённая бледным гало — верный знак, что завтра будет ветер.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Когда я приехала сюда, я думала — просто ещё один город. Спеть, собрать деньги, уехать. Я не ожидала, что встречу здесь... — она запнулась, подбирая слово, — кого-то, кто не просто смотрит, а видит. Вы ведь видите, Джим. Я заметила это сразу. Вы смотрите на меня не так, как другие мужчины. Не как на вещь. Не как на добычу. Вы смотрите так, словно пытаетесь прочитать. Это пугает.

— Вас трудно напугать, — сказал он.

— Вы удивитесь.

Снова молчание. В кузнице что-то стукнуло — должно быть, остывающий металл. Или крыса. В прерии снова завыл койот, и ему ответил другой, ближе, и на мгновение их голоса сплелись в один — тоскливый, дикий дуэт. Изабель поёжилась, и Джим, сам не заметив как, снял с плеч плащ и накинул ей на плечи. Плащ был тяжёлым, пропахшим пылью и табаком, и она утонула в нём, как ребёнок в отцовской одежде.

— Спасибо, — сказала она. И добавила тише: — Давно никто не был ко мне так добр. Без причины.

— Причина есть, — ответил Джим. — Просто я её пока не понимаю.

Она слабо усмехнулась.

— Может быть, и понимать не надо. Может быть, достаточно просто... быть.

Он повернулся к ней. Она сидела совсем близко, закутанная в его плащ, и смотрела на него снизу вверх тёмными, блестящими глазами. В этот момент она не выглядела ни опасной, ни загадочной — просто уставшая женщина, что слишком много пережила и слишком долго была одна. И Джим, забыв обо всём — о Сэме, о Чёрном Вороне, о запахе лаванды, о собственных клятвах, — наклонился и поцеловал её.

Она не отстранилась. Губы её были тёплыми и мягкими, и от них пахло мятой — той самой мятой, которую Орвилл так и не смог ей раздобыть для чая. Она ответила на поцелуй с той же медленной, обдуманной нежностью, с какой делала всё, и на мгновение Джиму показалось, что мир остановился — перестал вращаться, перестал дышать, замер, как замирает маятник в разбитых часах. Он чувствовал её ладонь у себя на затылке, её пальцы в своих волосах, её дыхание на своей щеке, и всё это было таким правильным, таким оглушительно правильным, что он испугался.

Они отстранились одновременно, будто по команде. Изабель прижала пальцы к губам, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на смятение — или на его искусную подделку.

— Я не должна была этого делать, — прошептала она.

— Я тоже, — ответил он.

— Тогда почему?

— Потому что иногда то, что нельзя, — единственное, что имеет смысл.

Она долго смотрела на него, и лицо её в лунном свете было непроницаемым, как вода в глубоком колодце. Потом она встала, сняла плащ и аккуратно сложила его на скамейке рядом с ним. Шаль сползла с одного плеча, обнажив бледную кожу и тонкую голубую жилку, что билась у ключицы.

— Уже поздно, — сказала она. — Мне пора. Завтра у меня выступление. Орвилл сказал, в понедельник народу меньше, но платят лучше, потому что те, кто приходят в понедельник, приходят слушать.

— Я приду, — сказал он.

— Знаю.

Она повернулась и пошла к салуну — прямая, стройная, с высоко поднятой головой. Он смотрел ей вслед, и плащ его лежал на скамейке, храня тепло её плеч, и луна освещала пустую улицу, и где-то в груди у него распускался тот самый яблоневый цвет, о котором она говорила, — запах рая, обещание жизни. Он знал, что это опасно. Знал, что доверять нельзя никому, а женщине с такими глазами — тем более. Но впервые за три года ему не хотелось думать о том, что правильно, а что нет. Ему хотелось верить. Хотелось, чтобы эта женщина, упавшая в его жизнь, как падает звезда в пустыне, была настоящей.

Она уже подошла к дверям «Ржавой подковы», когда он окликнул её:

— Изабель!

Она обернулась.

— Тот человек. Старатель, что убил вашего жениха. Что с ним стало?

Она помедлила. Ветер поднял подол её платья, хлестнул тканью по доскам тротуара.

— Его повесили, — ответила она ровно. — Через неделю. Линчеватели вытащили его из камеры и повесили на старом вязе у почты. Говорят, он кричал, что не виноват. Но все ведь так кричат, правда?

И она исчезла за дверью, оставив его одного под луной, с этим вопросом, на который не было ответа. Джим просидел на скамейке ещё долго. Он смотрел, как гаснут окна в «Ржавой подкове» — одно за другим, — и думал о том, что каждое слово Изабель Грей было как камень, брошенный в воду: круги расходились, но дна он так и не видел. Она рассказывала о себе достаточно, чтобы он поверил, но не достаточно, чтобы он знал. Она открывалась ровно настолько, насколько нужно, чтобы закрыть главное. И всё же — её губы, её дыхание, её пальцы в его волосах были настоящими. Или он просто слишком давно не был с женщиной и готов был обманываться, лишь бы заполнить пустоту, что зияла в нём, как незасыпанная могила.

Он встал, накинул плащ и пошёл к конторе. В лицо дул северный ветер, и где-то на границе слуха ему чудился далёкий, едва различимый каркающий смех. Он остановился,

прислушался. Тишина. Только ветер и песок, только шорох перекати-поля, что катилось по улице, точно бесприютная душа.

Он не знал ещё, что за ним наблюдают. Не знал, что тень в проулке между кузницей и лавкой миссис Хартли — не просто тень, а человек с ножом за голенищем, который ждал, пока он уйдёт, чтобы скользнуть к ручью и передать своему боссу последние новости. Он не знал, что женщина, только что целовавшая его под луной, сейчас стояла у окна своей комнаты и смотрела на ту же луну с выражением лица, какого он никогда не видел у Изабель Грей, — с холодной, расчётливой улыбкой игрока, что видит финал партии на десять ходов вперёд.

Он просто шёл по пустой улице, вдыхая запах полыни и думая, что, может быть, жизнь ещё способна удивлять. И в этом была его ошибка. Жизнь, конечно, способна удивлять. Но иногда сюрпризы, которые она готовит, носят вовсе не яблоневый цвет.

Глава 4. Другая женщина

Час был поздний — тот глухой, бездонный час между полночью и рассветом, когда даже ветер стихает, словно прислушиваясь к чему-то, недоступному человеческому уху. Луна перевалила за колокольню и висела теперь низко над западными холмами, растеряв по пути половину своей желтизны и сделавшись бледной, точно старая кость. Дасти-Крик спал. Спали собаки, спали лошади в конюшнях, спал Орвилл Флэттери, уронив голову на стойку в обнимку с пустым стаканом, спал даже пастор Уилкинс, хотя его сон был неспокойным — виски, выпитое за субботу и воскресенье, ещё бродило в крови, рождая кошмары о геенне огненной и червях неусыпающих. Спал Сэм Хейс, и во сне его впервые за много ночей не звучал шипящий голос. Спал Джим Картер, сидя в кресле в своей конторе, не сняв сапог и не расстегнув кобуры, — сон его был тонок, как бумага, и каждые полчаса он просыпался, вслушиваясь в тишину, но тишина молчала, и он снова проваливался в дрёму.

Никто не видел, как окно на втором этаже «Ржавой подковы» бесшумно отворилось.

Окно это выходило на задний двор, где Орвилл держал пустые бочки, сломанные стулья и прочий хлам, что годами копился за салуном, как копится осадок на дне винной бутылки. Луна освещала этот двор лишь краем — полоса блед-

ного света падала на ржавую кучу подков и рассыпанную солому, оставляя остальное во тьме. В этой тьме одна из теней отделилась от стены и двинулась. Тень была высокая, узкая, и двигалась она так, как не двигаются люди при свете дня, — быстро, беззвучно, с той особой, звериной экономией движений, когда каждый шаг выверен и ни одна доска не скрипнет под ногой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.